

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

XVIII

ВЕКА

Хрестоматия

Том 1

Составители

Б. И. Пуришев, Б. И. Колесников, Я. Н. Засурский

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. И. ПУРИШЕВА

Издание второе,
исправленное и дополненное

Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности
«Русский язык и литература»



Москва
«Высшая школа»
1988

Готический роман

Гораций УОЛПОЛ

(Horace Walpole)

(1717–1797)

Сын вигского премьер-министра Роберта Уолпола, Гораций бессменно состоял членом парламента. Однако политикой занимался лишь постольку, поскольку это давало ему возможность жить на доходы от государственных должностей.

Всю жизнь Г. Уолпол был страстным коллекционером (антиквариетом) старинных скульптур, монет, оружия, картин, вел дневники.

Его корреспондентами были известные в ту эпоху писатели Т. Рей, Босуэл, Джонсон, Арбетнот, Маккензи и др.; художники — Рейнольдс, Гинсборо, Флаксман и др. Г. Уолпол был дилетантом-

искусствоведом, написал несколько статей по истории изобразительных искусств. Он интересовался историей, архитектурой, естественными науками, философией, увлекался предромантическим искусством. С 1750 г. он начал строить готический¹ загородный замок в Стронберн-Хилл, причудливо сочетающий в своей архитектуре несколько средневековых стилей; замок был окружен парком со множеством «таинственных» гротов и беседок; на лугу паслись коровы, подобранные по цвету в тон парковым лужайкам; в залах и комнатах были развешаны старинные рыцарские доспехи и оружие.

В небольшой собственной типографии замка Стронберн-Хилл был издан единственный роман Уолпола — «Замок Отранто».

«Замок Отранто» получил шумный успех: он знаменовал собой рождение жанра «готического» романа.

Для поколения европейцев 60-х годов XVIII в., воспитанных на книгах Ричардсона и Филдинга,

¹ В Англии XVIII в. слово «готический» означало «средневековый».

проповедовавших в быту и нравах общества разумное, рациональное, средневековая «готическая» обстановка, сверхъестественные персонажи и трагический эпический тон в повествовании Уолтола были необычными и новыми.

Самому Уолтолу были одинаково смешны и наивные сцены средневековья, и «благоразумие», и «трезвая рассудительность» практичного буржуа.

Писатель обратился к разработке фантастического материала лишь потому, что он, по его мнению, мог дать художнику больше поэтической свободы и помочь с большой глубиной выразить правду жизни. Впрочем стиль Уолтола-романиста еще не свободен от рационализма, сдержанности эпиков-просветителей.

Замок Отранто

(«The Castle of Otranto», 1765)

Глава I

У Манфреда, князя Отрантского, были сын и дочь. Дочери уже минуло восемнадцать лет; она была на редкость хороша собой и звалась Матильдой. Сын Манфреда, Конрад, был на три года моложе своей сестры; он был юноша болезненный, ничем особым не примечательный и не подающий больших надежд. Тем не менее именно он был любимцем отца, никогда не выказывавшего знаков душевного расположения к Матильде. Манфред подыскал сыну невесту — дочь маркиза да Виченца Изабеллу, которую после сговора опекуны препроводили к князю, — с тем, чтобы он мог сыграть свадьбу сразу же, как только это позволит слабое здоровье Конрада. Члены семьи Манфреда и окрестные соседи замечали, как не терпелось ему увидеть совершенным свадебный обряд. Но семья, знавшая суровый нрав своего главы, остерегалась высказывать вслух предположения о причинах такой спешки. Супруга Манфреда, Ишполита, женщина весьма добро-сердечная, иногда осмеливалась говорить мужу о своих опасениях по поводу столь раннего брака их единственного сына, слишком юного и отягченного болезнями, но в ответ она неизменно слышала от Манфреда лишь упреки в том, что из-за ее бесплодия у него только один наследник. Вассалы и подданные князя были менее осторожны в разговорах между собой: они объясняли эту поспешность тем, что князь страшится исполнения старинного пророчества, которое, как говорили, гласило, что «замок Отранто будет утрачен нынешней династией, когда его подлинный владелец станет слишком велик, чтобы обитать в нем». Смысл этого пророчества был неясен; еще менее ясно было, какое

отношение оно могло иметь к предстоящему браку. Но несмотря на все загадки и противоречия, простой народ твердо держался своего мнения.

Бракосочетание было назначено на день рождения юного Конрада. В условленный час участники церемонии собрались в замковой часовне, где все уже было готово для венчального обряда; отсутствовал только сам Конрад. Манфред, не желая терпеть ни малейшего промедления, недоумевая, куда мог пропасть сын, отрядил одного из челядинцев с наказом тотчас же привести юного князя. Слуга отсутствовал значительно меньше времени, чем требовалось для того только, чтобы пересечь двор и добраться до покоев Конрада. Очень скоро он бегом возвратился назад, совершенно обезумевший, задыхающийся, с расширенными от испуга глазами и с пеной на губах. Не произнеся ни слова, он указал рукой на двор. Всех присутствующих охватили изумление и страх. Княгиня Ипполита, не зная, что произошло, но сильно встревожившись из-за сына, от волнения лишилась чувств. Манфред, не столько обеспокоенный, сколько разъяренный оттяжкой венчания и нелепым поведением слуги, грозно потребовал от него объяснений. Ничего не отвечая, бедняга продолжал показывать дрожащей рукой в сторону двора. Лишь после того как требование было повторено несколько раз, он наконец выкрикнул: «Шлем, шлем!» Тем временем несколько человек успело спуститься из часовни во двор, и оттуда теперь доносился неясный шум, в котором выделялись крики и возгласы, выражавшие удивление и ужас. Видя, что сына все еще нет, обеспокоился и Манфред, и сам отправился узнать, чем вызвано это непонятное смятение. Матильда, хлопотавшая около матери, осталась в часовне; не тронулась с места и Изабелла; она тоже хотела позаботиться о княгине, но, кроме того, не желая выказать ни малейшего нетерпения по поводу отсутствия своего жениха, к которому, говоря по правде, не испытывала никакой склонности.

Первое, что бросилось в глаза Манфреду, были его слуги, которые сбились в кучу и силились поднять нечто, показавшееся ему огромной грудой черных перьев. Манфред на миг остолбенел, не веря своим глазам.

— Что вы делаете? — гневно вскричал он. — Где мой сын?

В ответ он услышал гул голосов:

— О, господин, Ваш сын! Ваш сын! Шлем! Шлем!

Крайне взволнованный этими горестными возгласами и безотчетно чего-то страшась, он быстро шагнул вперед и — какое зрелище для отцовского взора! — увидел перед собою тело своего сына, раздавленное и наполовину прикрытое гигантским шлемом, во сто раз большим, чем любая каска, когда-либо сделанная для головы человека, и увенчанное огромным пучком перьев.

Ужасная картина, которая предстала перед ним, полнейшая загадочность происшедшего несчастья и в особенности возвышавшееся перед ним исполинское и диковинное явление — все это подействовало на Манфреда так, что он лишился дара речи. Но одно лишь горе едва ли могло бы вызвать столь долгое молчание князя. Манфред, не отрывая глаз, пристально смотрел на шлем, словно надеясь, что он окажется только видением, и был, казалось, не столько поглощен своей утратой, сколько размышлениями о том поразительном предмете, который явился ее причиной. Он притрагивался к смертоносной каске, внимательно разглядывал ее, и даже окровавленные, исковерканные останки юного князя не могли отвлечь взгляд Манфреда от этого чуда. Все люди вокруг, знавшие, как сильно любил Манфред сына, были поражены его бесчувственностью, пожалуй, не меньше, чем самим чудесным шлемом. Они подняли обезображенный труп Конрада и перенесли его в замок. Манфред при этом оставался совершенно безучастным и не отдавал никаких распоряжений. Не больше внимания проявил он и к оставшимся в часовне несчастным женщинам — к своей жене и дочери; и не к ним относились первые слова, которые слетели с его уст.

— Позаботьтесь о госпоже Изабелле, — сказал он.

Слуги не придали значения странности этого распоряжения: будучи весьма преданы своей госпоже, княгине, они решили, что князь, выразившись столь своеобразно, имел в виду ее тяжелое душевное состояние, и поспешили прийти к ней на помощь. Они перенесли Ипполиту, в которой едва теплилась жизнь, в ее покои, но она проявляла полное безразличие ко всем необычайным обстоятельствам, о которых ей рассказывали, — ко всему, кроме смерти сына. Матильда, исполненная самозабвенной дочерней любви, подавила свое собственное горе и изумление и думала только о том, как вернуть к жизни и утешить свою страждущую мать. Изабелла, помня, что Ипполита всегда относилась к ней как к родной дочери, и платя ей столь же горячей преданностью и любовью, также усердно хлопотала вокруг нее; вместе с тем, видя, что Матильда сама подавлена горем, хотя и стремится скрыть свое состояние, она старалась, как могла, разделить с ней и облегчить это тяжкое бремя, ибо питала к дочери Ипполиты самую искреннюю дружескую симпатию. Однако она не могла одновременно не думать и о своем собственном положении. Смерть юного Конрада не вызвала в ней никаких других чувств, кроме жалости, и она отнюдь не была опечалена тем, что избавилась от необходимости вступить в брак, суливший ей мало радости, как можно было предполагать, судя по облику ее нареченного жениха и по суровому нраву Манфреда; несмотря на проявляемую им к невесте сына большую снисходительность, он

внушал ей необоримый страх своей беспричинной черствостью в обращении с такими кроткими существами, как его жена и дочь.

Пока Изабелла и Матильда провожали убитую горем мать к ее ложу, Манфред оставался во дворе и продолжал созерцать зловещий шлем, не обращая внимания на толпу, которая постепенно собралась вокруг него, привлеченная удивительным происшествием. Он почти ничего не говорил и лишь несколько раз повторил один и тот же вопрос, — не знает ли кто-нибудь, откуда взялся этот шлем? Никто, однако, не мог сообщить ему никаких сведений на этот счет. Но так как Манфреда, по-видимому, занимало только происхождение шлема — и ничего более, — вскоре и все остальные зрители стали рассуждать лишь об этом, высказывая различные предположения, неясность и невероятность которых вполне соответствовали исключительности самого бедствия. Глупейшие догадки следовали одна за другой, как вдруг один молодой крестьянин, пришедший сюда из близлежащей деревни, до которой уже успел дойти слух о событиях в замке, заметил, что чудесный шлем в точности похож на шлем черной мраморной статуи, стоящей в церкви святого Николая и изображающей Альфонсо Доброго, одного из князей, правивших здесь в прежние времена.

— Что ты сказал, негодяй? — вскричал, внезапно перейдя от оцenenия к ярости, Манфред и схватил молодого крестьянина за шиворот. — Как посмел ты произнести эти предательские слова? Ты заплатишь за них жизнью!

Присутствующие так же мало могли уразуметь причину гнева Манфреда, как и все прочее, что они видели перед собой, и этот новый оборот дела поверг их в полное замешательство. Сам молодой крестьянин был изумлен больше всех и не мог понять, чем он оскорбил князя; однако, сразу сообразив, как вести себя, он со смиренным видом осторожно высвободился из железных рук Манфреда и затем, отвесив глубокий поклон, выражавший не столько страх, сколько желание засвидетельствовать свою невиновность, почтительно спросил, в чем состоит его проступок. Отнюдь не умиротворенный покорностью крестьянина, напротив, еще более рассерженный тем, что молодой человек весьма решительно, хотя и ни в какой мере не грубо, заставил его разжать стиснутые пальцы. Манфред приказал своим людям схватить провинившегося и на месте заколоть бы его кинжалом, если бы его не удержали приглашенные на свадьбу гости.

Во время этой перепалки несколько человек из числа собравшегося простонародья успели сбегать в расположенную поблизости от замка большую церковь и вернулись оттуда с разинутыми от изумления ртами: они объявили, что шлем, который был на статуе Альфонсо Доброго, исчез. При этом

известии Манфред впал в полное неистовство и, словно чувствуя потребность сорвать на ком-нибудь свой гнев, снова обрушился на молодого крестьянина с криком:

— Негодяй! Дьявольское отродье! Колдун! Ты сделал это! Ты убил моего сына!

Толпа, которая, запутавшись в догадках и предположениях, искала в доступных ее пониманию пределах какого-то прямого виновника бедствия, тотчас подхватила слова Манфреда и тоже стала кричать:

— Это он, он! Он украл шлем с надгробной статуи Альфонсо Доброго и разможил им голову вашего сына!

При этом никто и не подумал о том, как велико различие между мраморным шлемом, находившимся в церкви, и огромной стальной каской, которая была сейчас на виду у всех. Не пришлось никому на ум и то, что для юноши, едва достигшего двадцатилетнего возраста, было совершенно невозможно приволочь с собой доспех такой немислимой тяжести.

Явная нелепость всех этих домыслов привела Манфреда в чувство. Однако либо рассерженный тем, что крестьянин заметил сходство между шлемами и, таким образом, обнаружилось исчезновение шлема из церкви, либо желая пресечь всякие слухи, которые могло породить столь дерзкое предположение, Манфред во всеуслышание объявил, что молодой человек, бесспорно, является чернокнижником и что пока церковь не произведет дознания по делу, изблеченный чародей будет содержаться в заключении под этим самым шлемом. Он тут же приказал своим людям поднять шлем и поместить под него молодого человека, сказав при этом, что ему не будут доставлять пищу, ибо он сам сможет добыть ее себе при помощи своих сатанинских чар.

Напрасно молодой человек упрашивал отменить этот нелепый приговор. Напрасно пытались друзья Манфреда отвлечь его от этого дикого решения, для которого не было никаких причин. Большинство простонародья пришло в восторг от произнесенного их господином суда, в высшей степени справедливого, по их разумению, поскольку он карал кудесника тем же самым орудием, которое тот избрал для совершения своего злого дела; и ни у кого из этих людей даже не екнуло сердце при мысли, что юноша может умереть голодной смертью, ибо они и не предполагали такой возможности, будучи убеждены в том, что он, при помощи своего дьявольского искусства, с легкостью обеспечит себя пропитанием.

Поэтому распоряжение Манфреда было выполнено с большой готовностью и охотой, после чего, выставив у шлема стражу и строго наказав ей препятствовать всякой попытке передать узнику пищу, он подал своим друзьям и слугам знак расходиться, велел запереть наружные ворота, разрешив

оставаться в замке только живущим в нем челядинцам, и удался в свои покои.

Тем временем благодаря стараниям и заботам обеих молодых девушек княгиня Ипполита пришла в себя; она снова предалась своему горю, но среди бурных приступов отчаяния то и дело спрашивала о своем супруге и повелителе, хотела послать к нему слуг, что были при ней, и наконец упросила Матильду оставить ее и пойти утешить отца. Матильда, неизменно верная своему дочернему долгу, хотя и трепетала от страха перед суровостью Манфреда, повиновалась приказу матери; препоручив ее с тысячей предупреждений заботам Изабеллы, она осведомилась, где находится Манфред, на что ей было отвечено, что он удался в свои покои и не велел никого допускать к себе. Предполагая, что отец погружен в свое горе, и опасаясь, что при виде единственного оставшегося в живых его детища слезы снова брызнут из его глаз, она колебалась, следует ли ей нарушать его печальное уединение; однако ее собственное беспокойство о нем и прямое повеление матери заставили ее отважиться на неповиновение приказу отца — дерзость, в которой она никогда не была повинна прежде. Робость, присущая ее кроткой натуре, остановила ее у входа в покои Манфреда. Стоя в нерешительности перед дверью она слышала, как он, то быстрее, то медленней, ходит взад и вперед по комнате; такое состояние его духа только усилило ее дурные предчувствия. Однако она собиралась уже заявить о себе стуком и попросить разрешения войти, как вдруг Манфред сам отворил дверь, но в уме его царил смятение, а к тому же еще наступили сумерки, и он, не узнав Матильду, сердито спросил, кто его беспокоит.

— Дорогой отец, это я, ваша дочь, — дрожа, ответила Матильда.

— Убирайся! Мне не нужна дочь! — вскричал, отпрянув от нее, Манфред. И, резко отступив назад, он со всего размаху захлопнул дверь перед онемевшей Матильдой.

Она слишком хорошо знала необузданный нрав отца, чтобы решиться на новое вторжение. Немного оправившись от потрясения, вызванного таким недружелюбным приемом, она поспешила утереть слезы, чтобы скрыть происшедшее от матери и оберечь ее от еще одного тяжкого удара; и когда Ипполита стала взволнованно расспрашивать ее, каково состояние Манфреда и как переносит он свою утрату, она заверила ее, что отец здоров и сохраняет в несчастье мужественную твердость духа.

— Но неужели он не допустит меня к себе? — горестно спросила Ипполита. — Неужели не позволит мне смешать свои слезы с его слезами и матери нельзя будет выплакать свое горе на груди ее повелителя? Или ты обманываешь меня, Матильда? Я знаю, какую любовь питал Манфред к своему

сыну: не оказался ли удар слишком силен для него и он не смог его перенести? Я опасюсь самого худшего! Поднимите меня, — обратилась она к служанкам, — я хочу, я должна увидеть своего супруга. Отнесите меня к нему немедленно. Он мне дороже всех на свете, даже моих детей.

Матильда знаками показала Изабелле, что следует помешать намерению Ипполиты подняться, и обе прелестные девушки мягко, но настойчиво старались удержать на месте и успокоить княгиню, как вдруг появился слуга с поручением от Манфреда и сообщил Изабелле, что его господин желает говорить с ней.

— Со мной? — воскликнула удивленная Изабелла.

— Идите, — сказала ей Ипполита, испытывая облегчение от того, что услышала слова, переданные ее супругом. — Манфред не в состоянии сейчас видеть своих близких. Он думает, что ваше смятение не столь велико, как наше, и опасается силы моего горя. Утешьте его, моя дорогая Изабелла, и скажите ему, что я предпочитаю одна справляться со своей душевной мукой, нежели усиливать его страдания.

Так как в это время уже наступил вечер, слуга, сопровождавший Изабеллу, нес перед ней факел. Когда они предстали перед Манфредом, который нетерпеливо шагал взад и вперед по галерее, тот, встрепенувшись, бросил слуге:

— Прочь этот свет и убирайся сам!

Затем, с силой захлопнув дверь, он бросился на приставленную к стене скамью и велел Изабелле сесть рядом с ним. Дрожа от страха, Изабелла повиновалась.

— Я послал за вами... — сказал Манфред и остановился, как бы подыскивая слова.

— О, князь! — прошептала Изабелла.

— Да, я послал за вами, — повторил он, ибо хотел видеть вас по одному весьма важному поводу. Осушите ваши слезы, Изабелла... Вы утратили своего жениха... Да, такова жестокая судьба! А я утратил надежду на продолжение моего рода! Но Конрад был недостойн вашей красоты.

— Как, ваша светлость! — воскликнула Изабелла. — Я надеюсь, вы не подозреваете, что я не испытываю тех чувств, которые мне надлежит испытывать по столь печальному поводу. Мой долг и моя преданность никогда бы...

— Не думайте о нем больше, — прервал ее Манфред. — Конрад был болезненный, тщедушный мальчик. Возможно, для того и прибрал его господь, чтобы я не доверил будущее моего дома столь ненадежному фундаменту. Княжеский род Манфреда нуждается в многочисленных и крепких опорах. Моя неразумная любовь к этому юнцу затмила мне взор и лишила меня предусмотрительности, — так что, может быть, оно и к лучшему. Я надеюсь, что через несколько лет у меня будут основания радоваться смерти Конрада.

Нельзя описать словами изумление Изабеллы. Сначала ей показалось, что у Манфреда от горя помутился разум. Затем она подумала, что эти странные речи имеют своей целью заманить ее в какую-то ловушку. Она испугалась того, что Манфред почувствовал ее равнодушие к Конраду, и поэтому сочла уместным ответить:

— Не сомневайтесь в моих чувствах, высокочтимый князь: отдав свою руку, я отдала бы и свое сердце. Конраду были бы посвящены все мои заботы, и как бы судьба ни распорядилась мною, отныне я всегда буду свято хранить его память, а вашу светлость и достойнейшую супругу вашу Ипполиту буду чтить как родных отца и мать.

— Будь она проклята, Ипполита! — вскричал Манфред. — Забудьте ее с этого мгновения, как я уже забыл ее. Короче говоря, Изабелла, вы утратили жениха, но он был недостойн ваших прелестей. Вместо хилого юнца супругом вашим должен стать мужчина во цвете лет, который сумеет ценить вашу красоту и который может надеяться на многочисленных отпрысков.

— Увы, ваша светлость, — возразила Изабелла, — ум мой слишком поглощен только что постигшим ваше семейство ужасным несчастьем, чтобы я могла помышлять о другом замужестве. Если мой отец когда-нибудь прибудет сюда и такова будет его воля, я покорюсь ей, так же как и в тот раз, когда я согласилась отдать свою руку вашему сыну; но до тех пор, пока не явится мой отец, позвольте мне оставаться под вашим гостеприимным кровом и посвятить свои скорбные дни попыткам облегчить горе, поразившее вас, госпожу Ипполиту и прекрасную Матильду.

— Я уже просил вас однажды, — гневно сказал Манфред, — не вспоминать больше об этой женщине; с этого часа она должна быть для вас такой же чужой, как и для меня. Короче говоря, Изабелла, поскольку я не могу женить на вас своего сына, я предлагаю вам в мужья себя самого.

— О, боже! — вскричала Изабелла, у которой наконец спала пелена с глаз. — Что я слышу! Вы, князь? Вы? Мой свекор! Отец Конрада! Супруг кроткой и добродетельной Ипполиты!

— Говорю вам, — властно заявил Манфред, — Ипполита больше не жена мне; с этого часа я в разводе с ней. Слишком долго ее бесплодие тяготело проклятием надо мной. Моя судьба зависит от того, будут у меня сыновья или нет, и я верю, что эта ночь предопределит день, когда мои надежды сбудутся.

С этими словами он схватил холодную как лед руку Изабеллы. Ни жива ни мертва от объявленного ее страха и ужаса. Изабелла вскрикнула и вырвалась от него. Манфред вскочил, чтобы настичь ее, как вдруг увидел в свете месяца, теперь уже высоко взошедшего и озарявшего противоположное окно.

перья рокового шлема, которые поднимались до самых окон и раскачивались из стороны в сторону, глухо шелестя, словно деревья в бурю. Изабелле отчаяние придало храбрости, и, больше всего страшась настойчивого стремления Манфреда осуществить свой замысел, она крикнула:

— Смотрите, князь, смотрите! Само небо осуждает ваши нечестивые намерения!

— Ни небо, ни ад не помешают мне выполнить то, что я задумал, — ответил Манфред и снова бросился к Изабелле.

В этот момент портрет его деда, висевший над скамьей, на которой они перед тем сидели, явственно вздохнул и грудь его поднялась и опустилась. Изабелла, стоявшая спиной к портрету, не заметила, как он шевельнулся, и не знала, откуда донесся услышанный ею вздох, но вся задрожала. Произнеся: «Что это, князь? Вы слышите этот звук?» — она бросилась к двери. Манфреду, который не мог отвести глаз от портрета, было в этот момент не до нее, и она успела добраться до лестницы, прежде чем он, заметив ее бегство, сделал несколько шагов ей вслед, озираясь на ожившее изображение, как вдруг портрет покинул раму и, сойдя на пол, с угрюмым и скорбным видом стал перед Манфредом.

— Уж не во сне ли я вижу это? — вскричал Манфред. — Или все дьявольские силы ополчились против меня? Говори, адское виденье! А если ты действительно мой предок, то почему и ты вступил в заговор против своего несчастного потомка, который платит слишком дорогой ценой за то, что...

Он не успел окончить фразу, как призрак снова вздохнул и подал Манфреду знак следовать за ним.

— Веди меня! — воскликнул Манфред. — Я пойду за тобой хоть в самую преисподнюю.

Призрак степенно, но с угрюмым видом прошествовал до конца галереи и свернул в горницу направо. Манфред следовал за ним на некотором расстоянии, исполненный тревоги и ужаса, но без колебаний. Когда он захотел войти в горницу вслед за призраком, незримая рука резко захлопнула перед ним дверь. Князь, собрав во время этой задержки всю свою смелость, стал ломиться в дверь, ударяя в нее ногой, но убедился, что она не поддается никаким его усилиям.

— Что же, если ад не хочет удовлетворить мое любопытство, я употреблю все доступные мне человеческие средства, чтобы сохранить свой род, — промолвил он. — Изабелле не уйти от меня.

Девушка, чья решимость сменилась страхом, как только она покинула Манфреда, сбегала вниз по главной лестнице до прихожей. Здесь она остановилась, не зная, куда направиться дальше и как спастись от необузданного князя. Ворота замка были заперты, и во дворе были расставлены часовые. Могла ли она, повинаясь зову своего сердца, пойти в покои Ипполиты,

чтобы предупредить княгиню об ожидавшей ее жестокой участи? Она не сомневалась, что Манфред сразу же явится за ней туда и в своей ярости нанесет задуманную им обиду со всей мыслимой жестокостью, а у них не будет никакой возможности защититься от неистовства его страстей. Нужна была хоть небольшая отсрочка, в течение которой Манфред мог бы поразмыслить над принятыми им ужасными решениями или появилось бы какое-нибудь благоприятное для нее обстоятельство, но для этого необходимо, чтобы по крайней мере на ближайшую ночь ему пришлось отложить выполнение своих чудовищных намерений. Но где скрыться? Как уйти от Манфреда, который неизбежно будет преследовать ее в любой части замка? В то время как эти мысли вихрем проносились в ее голове, она вдруг вспомнила про подземный ход, который вел из подвалов замка в церковь святого Николая. Она знала, что если бы ей удалось добраться до алтаря, прежде чем ее настигнут, то даже такой неистовый человек, как Манфред, не посмел бы осквернить это священное место; и она решила, если не представится иного способа спастись, навсегда укрыться среди святых дев, чей монастырь соседствовал с церковью святого Николая. Приняв такое решение, она схватила светильник, горевший у подножия лестницы, и устремилась к потайному ходу.

Глава V

...Маркиз <...> тихонько прокрался к покоям Ипполиты и, никем не замеченный, вошел внутрь с намерением укрепить княгиню в ее решении согласиться на развод, ибо чувствовал, что Манфред ни в коем случае не отдаст ему Матильду до тех пор, пока сам не завладеет Изабеллой.

Его не удивила царившая в покоях княгини тишина. Предполагая, что Ипполита, как ему и сказали, находится в молельне, он прошел дальше. Дверь в молельню была полукрота, но мрак безлунной ночи не позволял что-либо разглядеть внутри. Осторожно отворив дверь настежь, он приблизил у алтаря коленопреклоненную человеческую фигуру. Приблизившись, он увидел перед собой не женщину, а обращенного к нему спиной неизвестного в длинной власянице. Незнакомец был, по-видимому, погружен в молитву. Маркиз хотел уже было удалиться, как вдруг фигура поднялась и постояла несколько минут, словно в раздумье, не глядя на него. Ожидая, что этот набожный человек двинется ему навстречу, и желая извиниться за свое грубое вторжение, Фредерик обратился к нему со словами:

— Преподобный отец, я искал госпожу Ипполиту...

— Ипполиту! — повторил глухой голос. — Разве ты прибыл в этот замок для того, чтобы искать Ипполиту, — и тут фигура обернулась, открыв Фредерику обнаженные челюсти и пустые глазницы скелета под капюшоном отшельнической власяницы. Фредерик отпрянул с криком:

— Ангелы господни, защитите меня!

— Заслужи их защиту!

Упав на колени, Фредерик стал молить видение смилостивиться над ним <...>

— <...> Скажи мне, душа праведника, с чем ты послана ко мне? Что еще должен я сделать?

— Забыть Матильду, — ответило видение и исчезло.

Кровь похолодела в жилах Фредерика. Несколько минут он оставался недвижим. Затем, рухнув ниц перед алтарем, он взмолился ко всем святым о заступничестве, дабы ему было даровано прощение. <...>

Он ринулся прочь из покоев княгини и сразу устремился к себе. У двери своей горницы он столкнулся с Манфредом; взбудораженный вином и любовью, тот явился за Фредериком с намерением предложить ему скоротать часть ночи в пирушке за песнями и музыкой. Оскорбленный этим приглашением, столь неуместным при его состоянии духа, Фредерик резко отстранил Манфреда и, войдя в свою горницу, со злостью захлопнул перед ним дверь, а затем запер ее изнутри.

Манфред, возмущенный непонятным поведением маркиза, удалился с таким чувством, которое могло толкнуть его на самые дикие и пагубные поступки. Перейдя двор, он встретил того слугу, которого оставил возле монастыря шпионить за Джеромом и Теодором. Этот человек, задыхаясь — оттого, видимо, что он всю дорогу бежал, — доложил своему господину, что Теодор и какая-то дама из замка беседуют сейчас наедине у гробницы Альфонсо в церкви святого Николая. Слуге удалось выследить Теодора, но ночной мрак помешал ему распознать, кто была дама.

Манфред и так уже был распален всем случившимся; вдобавок, Изабелла прогнала его от себя, когда он снова стал слишком неводержанно высказывать свою страсть к ней. Теперь он сразу решил, что высказанное ею беспокойство было вызвано желанием поскорей встретиться с Теодором. Подстегнутый этой догадкой и рассерженный поведением ее отца, он, никого не предупредив, один поспешил в церковь. В мерцающем свете лунного луча, проникавшего сквозь цветные стекла, он бесшумно проскользнул между боковыми приделами и прокрался к гробнице Альфонсо, направляемый услышанным им неясным шепотом тех самих лиц, коих он думал здесь застать.

Первые же слова, которые он разобрал, были следующие:

— Увы, разве это зависит от меня? Манфред никогда не позволит нам соединиться...

— Никогда! И вот как он предотвратит это! — вскричал тиран, и, выхватив свой кинжал, вонзил его из-за плеча говорившей прямо ей в грудь.

— Ах, все кончено, я умираю! — воскликнула Матильда падая. — Милосердный боже, прими мою душу!

— Гнусный, бесчеловечный злодей! Чудовище! — возопил Теодор, бросаясь на Манфреда и вырывая у него кинжал.

— Отведи свою нечестивую руку! — крикнула Матильда. — Это мой отец!

Манфред, словно вдруг очнувшись от наваждения, стал бить себя в грудь, рвать на себе волосы, пытался отобрать у Теодора кинжал, чтобы покончить с собой. Теодор был почти в таком же безумном состоянии, как и Манфред, но, подавив порывы своего горя, бросился спасать Матильду. Привлеченные его криками о помощи, сбежались монахи. Одни принялись вместе с Теодором останавливать кровь, которой обливалась умирающая, другие же крепко держали Манфреда, чтобы он в отчаянии не наложил на себя руки.

<...> Тем временем в церковь явился и Джером, тоже узнавший об ужасном событии. Во взгляде его, казалось, был укор Теодору, но, обернувшись к Манфреду, он произнес:

— Смотри, тиран: свершилось еще одно из тех страшных бедствий, которым суждено обрушиться на твою нечестивую голову! Кровь Альфонсо вопияла к небесам об отмщении, и господь попустил осквернение своего алтаря убийством, дабы ты пролил родную кровь у гробницы этого государя!

— Жестокий! — воскликнула Матильда. — Зачем отягчаешь ты скорбь несчастного отца? Да благословит его небо и простит ему, как я прощаю. Господин мой, владыка и повелитель над всеми нами, простите ли вы свое дитя? Клянусь, я пришла сюда не для встречи с Теодором. Я увидела его молящимся у этой могилы, к которой матушка послала меня, чтобы я заступилась перед богом за вас, отец, и за нее... Дорогой отец мой, благословите дочь свою и скажите, что прощаете ее!

— Это я — чудовище, убийца — должен простить тебя? — вскричал Манфред. — Да разве смеют душегубы кого-нибудь прощать? Я принял тебя за Изабеллу, но господь направил мою преступную руку в сердце моей собственной дочери... О, Матильда! Не смею выговорить... Можешь ли ты простить мне мою слепую ярость? <...>

Прежде чем они добрались до замка, Ипполита, уже оповещенная об ужасном событии, выбежала встречать свое умирающее дитя; но, когда она увидела печальную процессию.

ее охватило такое горе, что силы оставили ее, и, как безжизненное тело, она в глубоком обмороке рухнула наземь. Сопровождавшие ее Фредерик и Изабелла были подавлены скорбью почти в равной мере. Только Матильда как будто и не замечала своего состояния: все ее мысли и чувства были отданы горячо любимой матери.

<...>Услышав голос матери, Матильда подняла веки и взглянула на нее, но тут же опустила их снова. Биение крови все более слабело, рука стала влажной и холодной, и вскоре на спасение несчастной девушки не осталось никакой надежды. Теодор последовал за лекарями в соседнюю горницу и, услышав их приговор, впал в отчаяние, граничившее с полным безумием.

— Если ей не дано жить, — вскричал он, — то хоть в смерти она должна быть моей! Отец! Джером! Вы соедините наши руки? — обратился он к монаху, который, так же как и маркиз, не отходил от лекарей.

— Что за дикое безрассудство! — воскликнул Джером. — Разве сейчас время для бракосочетания?

— Да, именно сейчас, — кричал Теодор. — Увы, другого времени не будет <...>

Изабелла знаком остановила его, чувствуя, что конец Матильды близок.

— Что? Она умерла? — закричал Теодор. — Неужели?

От его душераздирающих возгласов к Матильде вернулось сознание. Она открыла глаза и посмотрела вокруг, ища мать.

— Свет очей моих, я здесь, я здесь, — вскричала Ипполита. — Не бойся — я не покину тебя.

— О, как вы добры! — произнесла Матильда. — Но не рыдайте из-за меня, матушка. Я уйду туда, где нет горестей... Изабелла, ты любила меня, пусть же моя дорогая мать всегда ощущает твою любовь к ней, такую сильную, что она могла бы заменить ей любовь дочери... Ах, право, я так слаба...

— О, дитя мое! — повторяла Ипполита, рыдая. — Как продлить мне твою жизнь еще хоть немного? <...>

— Я хотела бы сказать еще кое-что, но уже не могу... — с трудом произнесла Матильда. — Изабелла... Теодор... ради меня... О! — С этими словами она испустила последний вздох.

<...>Изабелла отвела подавленную горем Ипполиту в ее покои, но посередине двора они встретили Манфреда, который все более безумел от мучивших его мыслей, почувствовал непреодолимое желание снова увидеть дочь и направился в горницу, где она лежала. Так как луна стояла уже высоко, он по выражению лиц обеих несчастных женщин догадался, что произошло самое страшное, чего можно было ждать.

— Что? Она умерла?! — закричал в диком смятении, и в этот миг удар грома сотряс замок до самого основания; колыхну-

лась земля, и послышался оглушительный лязг огромных нечеловеческих доспехов.

Фредерику и Джерому подумалось, что наступает светопреставление. Джером ринулся во двор, увлекая за собой Теодора. В то мгновение, когда Теодор появился во дворе, стены замка за спиной Манфреда рухнули под действием какой-то могучей силы, и среди развалин восстала разросшаяся до исполинских размеров фигура Альфонсо.

— Склонитесь перед Теодором, истинным наследником Альфонсо! — возгласил призрак и, произнеся эти слова, сопровождавшиеся раскатом грома, стал величаво возноситься к небесам.

<...>Все, кто видел это, пали ниц, признав в явленном им божью волю. Первой нарушила молчание Ипполита.

— Господин мой, — сказала она обессилевшему Манфреду, — вот какова тщета человеческого величия. Конрад покинул этот мир! Нет больше Матильды! В лице Теодора зрим мы истинного князя Отрантского<...>

— Безвинная страдальца! Несчастная жертва моих преступлений! — воскликнул Манфред. — Наконец сердце мое открыто для твоих благочестивых увещаний... О, если бы я мог... Но это невозможно... Вы недоумеваете... Так пусть же я сам, наконец, свершу над собою суд. Я сам должен выставить на позор свою голову — это единственное удовлетворение, которое я могу дать оскорбленным небесам. Мои деяния навлекли на меня эти кары<...>

Появление в 1764 г. «Замка Отранто» Горация Уолпола положило начало становлению и интенсивному развитию в Англии нового литературного направления — «готического» романа.

Вслед за Уолполом выступила плеяда романистов-«готиков»: Анна Радклиф (1764—1823), Клара Рив (1729—1807), Шарлотта Смит (1749—1806), Вильям Бекфорд (1760—1844), Мэтью Грегори Льюис (1775—1818) и многие другие, ныне забытые авторы.

«Готический» роман отрицал эстетические каноны просветительских сентиментального и реалистического романов первой половины XVIII в. В то же время он во многом связан еще с рационалистическими положениями просветителей; этот роман является переходным этапом от Просвещения к романтизму.

Вопиющие социальные бедствия, порожденные во второй половине века промышленным переворотом, невозможно было объяснить с позиций метафизического рационализма просветителей. Поэтому авторы «готического» романа обратились к приемам средневекового рыцарского романа, разграничив всех персонажей на злодеев и благородных рыцарей, на добродетельных и невинных героинь и испорченных пороками и эгоистическими страстями честолюбцев и авантюристов. Пытаясь интуитивно постигнуть природу социального зла эпохи, романисты разрабатывали фантастические и таинственные сюжеты, необыкновенные характеры и ситуации, воссоздавали мрачный и трагический колорит, сменив бытовую, нравоописательную тематику просветителей на темы фантастики, исторической и романтической экзотики. Но за всеми этими таинственными элементами прослеживаются реальные жизненные конфликты: все тайны и преступления совершаются в процессе борьбы за материальные ценности. Злодеи, фигурирующие в «готическом» романе, как правило, представляют собой типы буржуазного

хищника-стяжателя, незаконно захватывающего чужую собственность, или пытающегося удержать в своих руках богатство, награбленное его предками. В этом сказывается связь романистов «готической» школы с просветительским рационализмом. Именно эти черты наиболее ярко выступают в композиции «Замка Отранто». Здесь читатель впервые встретился с нагромождением самых чудовищных преступлений, тайн и ужасов. Владелец майората Отранто — жестокий принц Манфред — является внуком преступника, отравившего законного владыку замка — Альфонсо Доброго. Над Манфредом и всем его родом довлеет проклятие: семья Манфреда будет владеть майоратом лишь до того момента, пока законный владелец замка не вырастет до такого гигантского размера, что перестанет вмещаться под сводами его. Прислуга замка живет в постоянном страхе, так как в нем каждый день совершаются странные и таинственные события: большой, в полный рост, портрет деда Манфреда вдруг вышел из рамы; из носа мраморной статуи Альфонсо Доброго упали три капли крови; наконец, сын Манфреда — Конрад — накануне свадьбы с прекрасной Изабеллой был убит упавшим с неба гигантским стальным шлемом с перьями.

Иррациональные и трагические мотивы, которые вводятся автором романа в сюжет и композицию, призваны подчеркнуть непостижимую сложность жизни, невозможность для человеческого разума понять действие каких-то закономерностей, превращающих «благо в страдание», а «разумное — в бессмыслицу». И хотя действие романа отнесено к XII—XIII вв., оно обращено к современным Уолполу событиям.

Выше приводятся отрывки из глав 1-й и 5-й.

Вильям БЕКФОРД

(William Beckford)

(1760–1844)

В. Бекфорд, сын лондонского мэра, богатый аристократ, провел свою молодость в путешествиях по Европе (он посетил Италию, Испанию, Португалию; близ Цинтры Бекфорд построил дворец, о котором Байрон упоминает в своей лиро-лической поэме «Чайльд-Гарольд»).

В своем роскошном английском поместье Фонтхилл Бекфорд собрал богатейшие коллекции произведений искусства, привезенные из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Бекфорд оставил несколько литературных произведений, которые писал, главным образом, для себя и своих друзей. Дневник его путешествий — «Сны, мысли наяву и происшествия» (*Dreams, Walking Thoughts, and Incidents*, 1783),

а также романы: «Искусство современного романа, как изящная энтузиастка, роман-рапсодия» (*Modern Novel Writing, or the Elegant Enthusiast... A Rapsodical Romance*, 1796), «Аземия», описательный и сентиментальный роман, обрамленный стихотворениями (*Azemias, a Descriptive and Sentimental Novel, Interspersed with Pieces of Poetry*, 1797) вошли в историю литературы.

Однако подлинную эстетическую ценность представляет лишь небольшой «готический» роман В. Бекфорда «Ватек. Арабская повесть» (1786), написанный на французском языке, впоследствии переведенный на английский язык и опубликованный без ведома автора.

Ватек

Арабская сказка

(*Vathek. An Arabian Tale*, 1786)

Ватек, девятый халиф из рода Аббасидов, был сыном Мутасима и внуком Гаруна аль-Рашида. Он взошел на престол во цвете лет. Великие способности, которыми он обладал, давали народу надежду на долгое и счастливое царствование. Лицо его было приятно и величественно; но в гневе взор халифа становился

столь ужасным, что его нельзя было выдержать: несчастный, на кого он его устремлял, падал, иногда, пораженный насмерть. Так что, боясь обезлюдеть свое государство и обратить в пустыню дворец, Ватек предавался гневу весьма редко.

Он очень любил женщин и удовольствия хорошего стола. Его великодушие было безгранично и разврат безудержен. Он не думал, как Омар бен-Аблалазиз, что нужно сделать из этого мира ад, чтобы оказаться в раю за гробом.

Пышностью он превзошел всех своих предшественников. Дворец Алькорреми, построенный его отцом Мутасимом на холме Пегих Лошадей, господствовавшем над всем городом Самаррой, показался ему тесным. Он прибавил к нему пять пристроек, или, вернее, пять новых дворцов<...>

Несмотря на то, что Ватек утопал в сладострастии, подданные любили его. Полагали, что властитель, предающийся наслаждениям, по крайней мере столь же способен к управлению, как и тот, кто объявляет себя врагом их. Но его пылкий и беспокойный нрав не позволил ему ограничиться этим. При жизни отца он столько учился ради развлечения, что знал многое; он пожелал, наконец, все узнать, даже науки, которых не существует. Он любил спорить с учеными, но они не могли слишком далеко заходить в возражениях. Одних он заставлял смолкать подарками; тех, чье упорство не поддавалось его щедрости, отправляли в тюрьму для успокоения — средство, часто помогавшее.

Ватек хотел также вмешаться в теологические распри и высказался против партии, обычно считавшейся правоверной. Этим он вооружил против себя всех ревностных к вере; тогда он стал их преследовать, ибо желал всегда быть правым, чего бы это ни стоило.

Великий пророк Магомет, наместниками которого на земле являются халифы, пребывая на седьмом небе, возмущился безбожным поведением одного из своих преемников. «Оставим его, — сказал он гениям, всегда готовым исполнять его приказания, — посмотрим, как далеко зайдет безумие и нечестие Ватека: если оно будет чрезмерно, мы сумеем должным образом наказать его <...>

Ватек нашел утешение в мысли, что все считают его великим; к тому же он льстил себя надеждой, что свет его разума превзойдет силу его зрения и он заставит звезды дать отчет в приговорах о его судьбе <...>

Между тем добрые гении, наблюдавшие еще немного за поведением Ватека, поднялись на седьмое небо к Магомету и сказали ему: «Милосердный Пророк, подай руку помощи твоему Наместнику, или он безвозвратно запутается в сетях, которые расставили ему наши враги дивы; Гяур поджидает его в отвратительном дворце подземного огня; если он туда

войдет, он погиб навсегда». Магомет с негодованием ответил: «Он слишком заслужил быть предоставленным самому себе: однако я разрешаю вам сделать последнее усилие, чтобы спасти его».

Тотчас добрый гений принял вид пастуха, более прославленного своей набожностью, чем все дервиши и аскеты страны: он сел на склоне небольшого холма, близ стада белых овец и стал наигрывать на никому неведомом инструменте напевы, трогательная мелодия которых проникала в душу, пробуждала угрызения совести и прогоняла суетные мысли. От этих мощных звуков солнце покрылось темными тучами и кристально прозрачные воды маленького озера стали краснее крови. Все, кто был в пышном караване халифа, помимо своей воли устремились к холму; все в печали опустили глаза; все укоряли себя за зло, содеянное в жизни; у Дилары билось сердце, а начальник евнухов с сокрушенным видом просил прощения у женщин, которых часто мучил для собственного удовольствия.

Ватек и Нурониар побледнели и, угрюмо взглянув друг на друга, вспомнили с горьким раскаянием: он — о множестве совершенных им мрачайших преступлений, о своих несчастных и властолюбивых замыслах, а она — о своей разрушенной семье, о погибшем Гюльхенрузе. Нурониар казалось, что в этих роковых звуках слышатся крики умирающего отца, а Ватеку мерещились рыдания пятидесяти детей, которых он принес в жертву Гяуру. В этом душевном смятении их неудержимо влекло к пастуху. В его облике было нечто столь внушительное, что Ватек в первый раз в жизни смутился, а Нурониар закрыла лицо руками. Музыка смолкла, и гений обратился к халифу со словами: «Безумный властитель, которому провидение вручило заботы о народе! Так-то ты исполняешь свои обязанности? Ты превзошел меру преступлений, а теперь ты спешишь за возмездием? Ты знаешь, что за этими горами — мрачное царство Эблиса и проклятых дивов, и, соблазненный коварным призраком, ты отдаешься в их власть! Тебе предлагают в последний раз помощь; оставь свой отвратительный замысел, возвратись, отдай Нурониар отцу, в котором еще теплится жизнь, разрушь башню со всеми ее мерзостями, не слушай советов Каратис, будь справедлив к подданным, уважай посланников Пророка, загладь свое беззаконие примерной жизнью и вместо того, чтоб предаваться сладострастию, покайся в слезах на могилах своих благочестивых предков! Видишь ты тучи, что закрывают солнце? Если твое сердце не смягчится, то в час, когда небесное светило появится вновь, рука милосердия уже не протянется к тебе».

В страхе и нерешительности Ватек готов был броситься к ногам пастуха, в котором почувствовал нечто, превосходящее человеческое, но гордость одержала верх, и, дерзко подняв

голову, он метнул на него свой страшный взгляд. «Кто бы ты ни был, — ответил он, — довольно! Оставь свои бесполезные советы. Или ты хочешь обмануть меня, или сам обманываешься: если то, что я сделал, так преступно, как ты утверждаешь, то для меня нет и капли милосердия; я пролил море крови, чтобы достичь могущества, которое заставит трепетать тебе подобных; не надейся, что я отступлю, дойдя до самой цели, или что брошу ту, которая для меня дороже жизни и твоего милосердия. Пусть появится солнце, пусть освещает мой путь, мне все равно, куда бы он ни привел!» От этих слов вздрогнул сам гений, а Ватек бросился в объятия Нурониар и велел двигаться вперед.

Нетрудно было исполнить это приказание; наваждение исчезло, солнце заблестало вновь, и пастух скрылся с жалобным криком. Но роковое впечатление от музыки гения все же осталось в сердцах большинства людей Ватека; они с ужасом глядели друг на друга. С наступлением ночи все разбежались, и из многочисленной свиты остался лишь начальник евнухов, несколько беззаветно преданных рабов, Дилара и кучка женщин, принадлежавших, как и она, к религии магов.

Халиф, пожираемый горделивым желанием предписывать законы силам тьмы, мало огорчился этим бегством. Волнение крови мешало ему спать, и он не расположился лагерем, как обыкновенно. Нурониар, нетерпение которой чуть ли не превышало нетерпение халифа, торопила его и расточала нежнейшие ласки, чтобы окончательно помутить его разум. Она мнила уже себя могущественнее, чем Балкис, и представляла себе, как гении повергнутся ниц пред ступенями ее трона. Таким образом подвигались они при свете луны и увидели, наконец, две высоких скалы, которые образовали как бы портал у входа в небольшую долину, замыкавшуюся вдали обширными развалинами Истахара. Высоко с горы смотрели многочисленные гробницы царей; мрак ночи усиливал жуткое впечатление от этой картины. Миновали два городка, почти совершенно покинутых. В них осталось лишь несколько дряхлых старцев; увидя лошадей и носилки, они бросились на колени, восклицая: «О, боже, снова эти призраки, мучающие нас уже шесть месяцев! Увы! все жители, напуганные странными привидениями и шумом в недрах гор, покинули нас на произвол злых духов!» Эти жалобы показались халифу дурным предзнаменованием; он растоптал бедных старцев своими лошадьми и прибыл наконец к подножию большой террасы из черного мрамора. Там он и Нурониар вышли из носилок. С бьющими сердцами, блуждающим взором осматривали они все вокруг и с невольной дрожью ждали появления Гяура; но ничто не указывало на его присутствие. Зловещее молчание царило в воздухе и на горах. Луна отбрасывала на большую террасу

тени огромных колонн, подымавшихся чуть не до облаков. На этих унылых маяках, число которых казалось безмерным, не было крыш, и их капители, неизвестного в летописях земли стиля, служили прибежищем ночных птиц, которые, испугавшись приближения людей, с карканьем скрылись.

Главный евнух, цепenea от ужаса, умолял Ватек разрешить зажечь огонь и что-нибудь поесть. «Нет, нет, — ответил халиф, — некогда думать о подобных вещах; сиди смирно и жди приказаний!» Он сказал это решительным тоном и подал руку Нурониар. Взойдя по ступеням большой лестницы, они очутились на террасе, вымощенной мраморными плитами, подобной гладкому озеру, где не могла пробиться никакая травка. Направо шли маяки, стоявшие перед развалинами громадного дворца, стены которого были покрыты разными изображениями: прямо виднелись внушавшие ужас гигантские статуи четырех животных, похожих на грифов и леопардов; неподалеку от них при свете луны, освещавшей особенно ярко это место, можно было различить надписи, напоминавшие те, что были на саблях Гяура; они также постоянно менялись; когда, наконец, они приняли очертания арабских букв, халиф прочитал: «Ватек, ты не исполнил велений моего пергамента; ты заслуживаешь, чтобы я отослал тебя назад; но из уважения к твоей спутнице и во внимание к тому, что ты сделал, чтобы получить обещанное, Эблис позволяет отворить пред тобой двери своего дворца и принять тебя в число поклонников подземного пламени».

Едва он прочел эти слова, как гора, к которой примыкала терраса, содрогнулась и маяки чуть не обрушились им на головы. Скала полураскрылась, и в ее недрах появилась гладкая мраморная лестница; казалось, она спускается в бездну. На ступенях стояли по две свечи, похожих на те, что видела Нурониар в своем видении; камфарный дым их поднимался клубами к своду.

Это зрелище не испугало дочери Факреддина, — напротив, придало ей мужества; она не удостоила даже проститься с луной и небом и без колебания покинула чистый воздух, чтобы спуститься в адские испарения. Оба нечестивца шли гордо и решительно. Сходя при ярком свете этих факелов, они восхищались друг другом и в ослеплении своим величием готовы были принять себя за небесные существа. Единственное, что внушало им тревогу, было, что ступеням лестницы не видно было конца. В пламенном нетерпении они так спешили, что скоро спуск их стал походить на стремительное падение в бездну; наконец, у большого эбенового портала они остановились: халиф тотчас узнал его; тут ждал их Гяур с золотым ключом. «Добро пожаловать — на зло Магомету и его приспеш-

никам, — сказал он с отталкивающей улыбкой, — сейчас я введу вас во дворец, где вы честно заслужили себе место». С этими словами он дотронулся своим ключом до эмалированного замка, и тотчас обе половинки двери раскрылись с шумом, подобным грохоту летнего грома, и с таким же шумом закрылись, лишь только они вошли.

Халиф и Нурониар взглянули друг на друга с удивлением. Хотя помещение, где они находились, было покрыто сводом, оно казалось настолько обширным и высоким, что сначала они приняли его за огромную равнину. Когда глаза их приставились, наконец, к размерам предметов, они разобрали ряды колонн и арок; постепенно уменьшаясь на расстоянии, они вели к лучистой точке, подобной солнцу, бросающему на поверхность моря свои последние лучи. Пол, усыпанный золотым порошком и шафраном, издавал такой острый запах, что у них закружилась голова. Они все же подвигались вперед и заметили множество курильниц с серой, амброй и алоэ. Между колоннами стояли столы, уставленные бесчисленными яствами всех сортов и пенящимися винами в хрустальных сосудах. Толпы джинов и других летающих духов обоего пола танцевали сладострастные танцы под звуки музыки, раздававшейся откуда-то снизу.

В этой огромной зале прогуливались множество мужчин и женщин, державших правую руку у сердца; они казались занятыми лишь собою и хранили глубокое молчание. Все они были бледны, как трупы, и глубоко сидящие глаза их блестели фосфорическим светом, какой можно видеть по ночам на кладбищах. Одни были погружены в глубокую задумчивость, другие в бешенстве металась из стороны в сторону, как тигры, раненные отравленными стрелами; они избегали друг друга; и хотя их была целая толпа, все блуждало наугад, как бы в полном одиночестве.

При виде этого мрачного сборища Ватек и Нурониар похолодели от ужаса. Они настойчиво спрашивали у Гяура, что это такое и почему странствующие призраки все время держат правую руку у сердца. «Нечего теперь думать об этом, — резко ответил он, — скоро все узнаете; надо скорее представиться Эблису». И они продолжали пробираться вперед, но, несмотря на свою прежнюю самоуверенность, у них уже не хватало мужества обращать внимание на анфилады зал и галерей, открывавшихся направо и налево; все они были освещены пылающими факелами и светом костров, пирамидальное пламя которых достигало до самого свода. Наконец они пришли к месту, где пышные портьеры из ярко-малиновой парчи, расшитой золотом, падали со всех сторон в величественном беспорядке. Тут не было больше слышно музыки и танцев; свет, казалось, проникал сюда издалека.

<...> Ватек и Нурониар раздвинули складки занавесей и вошли в обширное святилище, устланное леопардовыми шкурами. Множество старцев с длинными бородами, африты в полном вооружении лежали ниц у ступеней возвышения, где на огненном шаре сидел грозный Эблис. Он казался молодым человеком лет двадцати; правильные и благородные черты его лица как бы поблекли от вредоносных испарений. В его огромных глазах отражались отчаяние и надменность, а волнистые волосы отчасти выдавали в нем падшего Ангела Света. В нежной, но почерневшей от молний руке он держал медный скипетр, пред которым трепетали чудовищный Уранбад, африты и все силы тьмы.

Халиф растерялся и повергся ниц. Нурониар, несмотря на все свое волнение, была очарована красотой Эблиса, ибо она ожидала увидеть ужасного исполина. Голосом, более мягким, чем можно было предположить, но вселявшим глубокую печаль, Эблис сказал им: «Сыны праха, я принимаю вас в свое царство. Вы из числа моих поклонников; пользуйтесь всем, что видите во дворце, — сокровищами древних султанов, живших до времен Адама, их волшебным разящими саблями и талисманами, которые заставят дивов открыть вам подземелья горы Каф, сообщаящиеся с этими. Там вы найдете многое, что может удовлетворить ваше ненасытное любопытство. Вы сможете проникнуть в крепость Ахермана и в залы Ардженка, где находятся изображения всех разумных тварей и животных, живших на земле до сотворения презренного существа, которого вы называете отцом людей».

Эта речь утешила и успокоила Ватека и Нурониар. Они с живостью сказали Гяуру: «Показывай же нам скорее драгоценные талисманы!» — «Идем, — отвечал злой Див с коварной усмешкой, — идем, вы получите все, что обещал вам Повелитель, и даже больше». И Гяур повел их длинным проходом, сообщавшимся со святилищем; он шел впереди большими шагами, а бедные новообращенные с радостью следовали за ним. Они вошли в обширную залу с высоким куполом, по сторонам которой находилось пятьдесят бронзовых дверей, запертых стальными цепями. Здесь царила мрачная темнота, а на нетленных кедровых ложах были расprostерты иссохшие тела знаменитых древних царей преадамитов, некогда повелителей всей земли. В них теплилось еще достаточно жизни, чтобы чувствовать безнадежность своего состояния; глаза их сохраняли печальную подвижность; они в тоске переглядывались, прижимая правую руку к сердцу. У ног их виднелись надписи, сообщавшие об их царствованиях, могуществе, гордости и преступлениях. Солиман Раад, Солиман Даки и Солиман по прозванию Джиан бен Джиан, султаны, заключившие дивов в темницы пещеры на горе Каф и ставшие столь самона-

деянными, что усомнились в существовании Высшего Начала, составляли там почетный ряд и, однако, находились ниже пророка Сулеймана бен Даура.

Этот царь, славившийся своей мудростью, возлежал выше всех, под самым куполом. Казалось, жизни в нем было больше, чем в других, и хотя время от времени он глубоко вздыхал и держал правую руку у сердца, как и другие, его лицо было спокойнее, и казалось, что он прислушивался к шуму черного водопада, видневшегося сквозь решетки одной из дверей. Лишь водопад один нарушал безмолвие этих унылых мест. Ряд медных сосудов окружал возвышение. «Сними крышки с этих каббалистических хранилищ,—сказал Гяур Ватеку,—вынь оттуда талисманы, они откроют тебе эти бронзовые двери, и ты станешь властелином сокровищ, запертых там, и повелителем охраняющих их духов!»

Халиф, подавленный этими зловещими приготовлениями, нетвердой поступью пошел к сосудам и оцепенел от страха, услышав стоны Сулеймана, которого в первый момент растерянности принял за труп. Пророк явственно произнес своими синеватыми губами следующие слова: «...Мой народ благоденствовал; мои дворцы вздымались к небесам; храм Всевышнему, выстроенный мной, стал одним из чудес света. Но я малодушно поддался увлечению женщинами и любопытству, которое не ограничилось подлунными делами. Я послушался советов джина Ахермана и дочери Фараона... я всем своим существом наслаждался блеском трона и сладострастием; не только люди, но и гении были подвластны мне. Я начал думать, как и эти несчастные цари, среди которых я лежу, что небесного мщенья нет, как вдруг молния сокрушила мои здания и низвергла меня сюда. Я не лишен, однако, надежды, как другие. Ангел Света принес мне весть, что во внимание к благочестию моих юных лет мои мучения кончатся, когда иссякнет этот водопад, капли которого я считаю; но, увы, когда придет этот желанный час? Я стражду, стражду! Безжалостный огонь пожирает мое сердце!»

С этими словами Сулейман с мольбой поднял руку к небу, и халиф увидел, что грудь его из прозрачного кристалла, сквозь которую видно сердце, охваченное пламенем. В ужасе Нурониар упала на руки Ватека. «О, Гяур!—воскликнул несчастный государь.—Куда завел ты нас? Выпусти нас отсюда; я отказываюсь от всего! О, Магомет! Неужели у тебя не осталось более милосердия к нам?»—«Нет, больше не осталось,—ответил злобный Див,—знай: здесь край, где царят безнадежность и возмездие, твое сердце будет так же пылать, как и у всех поклонников Эблиса; немного дней остается тебе до рокового конца, пользуйся ими, как хочешь; спи на грудах золота, повелевай адскими силами, блуждай по этим бесконеч-

ным подземельям, сколько тебе угодно; все двери раскроются перед тобой. Что до меня, я выполнил свое поручение и предоставляю тебя самому себе». С этими словами он исчез <...>

<...>Почти в то же время мать Ватек — царица Каратис <...> решив смело идти до конца и следовать совету Эблиса, собрала всех джинов и дивов, чтобы они воздали ей почести <...> она собиралась даже согнать с трона одного из Солиманов, чтобы занять его место, как вдруг голос из бездны смерти воскликнул: «Свершилось!» Тотчас надменный лоб бесстрашной царицы покрылся морщинами агонии; она испустила жалобный крик и сердце ее обратилось в пылающий уголь; она прижала к нему руку, и не могла ее уже отнять <...>

А через одну минуту тот же голос возвестил безнадежный приговор халифу, Нурониар, четверем принцам и принцессе. Их сердца воспламенились, и они потеряли самое дорогое из даров неба — надежду! Несчастные оказались разлученными и бросали друг на друга злобные взоры. Ватек видел во взгляде Нурониар лишь ярость и жажду мести; она в его глазах — отвращение и безнадежность. Два принца, только что нежно обнимавшихся как друзья, разошлись с содроганием. Калила и его сестра стали проклинать друг друга. Ужасные судороги и сдавленные вопли двух других принцев свидетельствовали о том, как ненавистны они сами себе. Все они погрузились в толпу отверженных, чтобы скитаться в вечной муке.

«Ватек» написан в 1782 г. «Готический» роман ужаса представлен здесь в типичной ориентальной окраске. С «Ватек» Бекфорда начинается история романтического ориентализма (открытие «романтики Востока»), последователями которого были Байрон и Томас Мур, а позднее и Эдгар По (см.: *Журмунский В. М.* У истоков европейского романтизма / Фантастические повести (Уолпол, Козот, Бекфорд). Л., 1967).

В мировой литературе немало блестящих вариантов легенды о Фаусте. Перед нами один из них: «призрак недоступного человеку знания и счастья» преследует Ватек и делает его рабом, подчиняет неистощимому на выдумки диву Гяуру. Однако у героя Бекфорда, в отличие от гетевского Фауста, индивидуализм доведен до предела, эгоизм и тщеславие трусливого, сластолюбивого тирана мешают ему сохранить человеческий облик, ибо крайности романтической исключительности с беспощадностью разоблачаются автором. Перед нами два различных типа восточного деспотизма, одинаково неприемлемых для Бекфорда: слабый и трусливый Ватек противопоставлен бесстрашной и сильной духом матери — царице Каратис. «Конец этих двух злодеев одинаков — оба оказываются в царстве Эблиса, у обоих сердце превращается в пылающий уголь и причиняет невыносимую боль <...> Показательно, что наиболее существенные черты характера героев проявляются именно в момент, когда их ждет суровое возмездие». (Соловьева Н. А. Английский предромантизм и формирование романтического метода. М., 1984. С. 55—58).

Американская литература

